



*Уолтеру И. Брэдбери,  
Не дядюшке, не кузену,  
А самым решительным образом —  
Редактору и другу!*



## По эту сторону Византии

### ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Эта книга, как и большинство моих книг и рассказов, возникла нечаянно. Я, слава богу, начал постигать природу таких внезапностей, будучи еще весьма молодым писателем. А до того, как и всякий начинающий, я думал, что идею можно принудить к существованию только битьем, мытьем и катаньем. Конечно, от такого обращения любая уважающая себя идея подождет лапы, откинется на спину, устанется в бесконечность и околеет.

Можно сказать, мне повезло: в двадцать с небольшим лет я увлекался словесными ассоциациями: просыпаясь поутру, шествовал к своему столу и записывал любые приходящие на ум слова или словесные ряды.

Затем я во всеоружии обрушивался на слово или вставал на его защиту, призывая ватагу персонажей взвесить это слово и показать мне его значение в моей жизни. Через час или два, к моему удивлению, возникал новый, законченный рассказ. Совершенно неожиданно и так восхитительно! Вскоре я обнаружил, что подобным образом мне суждено работать всю оставшуюся жизнь.

Поначалу я перебирал в памяти слова, которые описывали мои ночные кошмары и страхи моего детства, и лепил из них рассказы.

Потом я пристально посмотрел на зеленые яблони и старый дом, в котором родился, и на дом по соседству, где жили мои бабушка и дедушка, на лужайки летней поры — места, где я рос, и начал подбирать к ним слова.

В этой книге, стало быть, собраны одуванчики из всех тех лет. Метафора вина, многократно возникающая на

этих страницах, на удивление уместна. Всю свою жизнь я копил впечатления, прятал их куда-нибудь подальше и забывал. При помощи слов-катализаторов мне предстояло каким-то образом вернуться и распечатать воспоминания. Что-то в них будет?

С двадцати четырех до тридцати шести лет дня не проходило, чтобы я не отправлялся на прогулку по своим воспоминаниям среди дедовских трав северного Иллинойса, надеясь набрести на старый недогоревший фейерверк, ржавую игрушку, обрывок письма из детства самому себе, повзрослевшему, чтобы напомнить о прошлом, о жизни, о родне, о радостях и омытых слезами горестях.

Это занятие превратилось в игру, в которую я ушел с головой, — интересно, что мне запомнилось про одуванчики или про сбор дикого винограда в компании папы и брата. Я мысленно возвращался к бочке с дождевой водой — рассаднику комарья под боковым окном, выискивал ароматы золотистых мохнатых пчел, висевших над виноградной оранжереей у заднего крыльца. Пчелы, знаете ли, благоухают, а если нет, то должны, ибо их лапки припорошены пряностями с миллионов цветов.

В более зрелые годы мне захотелось вспомнить, как выглядел овраг, особенно тогда, когда поздними вечерами я возвращался домой с другого конца города, после сеанса «Призрака Оперы» с живописными ужасами Лона Чейни, а мой брат Слип забегал вперед и прятался под мостом через ручей, откуда, подобно Неприкаянному, выпрыгивал вдруг, чтобы меня сграбастать, а я с истошными воплями улепетывал, спотыкался, снова бежал и верещал всю дорогу до самого дома. Бесподобно!

Играя в словесные ассоциации, я попутно встречался и сталкивался с истинной и старинной дружбой. Из своего детства в Аризоне я позаимствовал для этой книги своего товарища Джона Хаффа и перенес его на восток, в Грин-таун, чтобы попрощаться с ним как подобает.

Попутно я садился завтракать, обедать и ужинать с давно почившими и обожаемыми мною людьми. Ведь я

на самом деле любил своих родителей, бабушку-дедушку и брата, несмотря на то что тот, бывало, мог меня, что называется, «подставить».

Я то оказывался в погребке, работая с отцом на винном прессе, то на веранде в ночь Дня независимости, помогая своему дядюшке Биону заряжать его самодельную медную пушку и палить из нее.

Вот тут-то я и столкнулся с неожиданностью. Конечно, никто не велел мне быть застигнутым врасплох, мог бы я добавить от себя. Сам виноват. Я набрел на старые и лучшие способы сочинительства благодаря своему неведению и экспериментаторству и вздрагивал каждый раз, когда истины выпархивали из кустарника, как перепелки, чуя выстрел. Как ребенок, который учится ходить и видеть, я шел к вершинам писательского мастерства наобум. Научился позволять своим чувствам и Прошлому рассказывать мне все, что было истинным.

Так я превратился в мальчика, бегущего с ковшом за чистой дождевой водой, зачерпнутой из бочки на углу дома. И, разумеется, чем больше воды вычерпываешь, тем больше ее заливается. Поток никогда не иссякал. Как только я научился снова и снова возвращаться в те далекие времена, у меня возникло множество воспоминаний и чувственных ощущений, которые можно было обыгрывать, не обрабатывать, а именно обыгрывать. Грош цена «Вину из одуванчиков», если оно не есть спрятавшийся в мужчине мальчишка, играющий в божьих полях на зеленой августовской траве, в пору своего взросления, старения и ощущения тьмы, поджидающей под деревьями, чтобы посеять кровь.

Меня позабавил и несколько озадачил некий литературный критик, написавший несколько лет назад аналитическую рецензию на «Вино из одуванчиков» и более реалистичные произведения Синклера Льюиса, в которой он недоумевает: как это я, родившийся и выросший в Уокигане, переименованном мною в Гринтаун для моего романа, не заметил в нем уродливой гавани, а на его

окраине удручающего угольного порта и железнодорожного депо.

Ну конечно же, я их заметил и, будучи прирожденным чародеем, был пленен их красотой. Разве могут быть в глазах ребенка уродливыми поезда и товарные вагоны, запах угля и огонь? С уродливостью мы сталкиваемся в более позднюю пору и начинаем всячески ее избегать. Считать товарные вагоны — первейшее занятие для мальчишек. Это взрослые бесятся и улюлюкают при виде поезда, который преграждает им дорогу, а мальчишки восторженно считают прикатившие издалека вагоны и выкликают их названия.

К тому же именно сюда, в это самое, якобы уродливое, депо прибывали аттракционы и цирки со слонами, которые в пять утра в темноте поливали могучими едкими струями мостовые.

А что до угля из порта, то каждую осень я спускался в подвал в ожидании грузовика с железным желобом, по которому с лязгом съезжала тонна красивейших метеоров, падающих в мой подвал из глубокого космоса, угрожая похоронить меня под грудой черных сокровищ.

Иными словами, если ваш сынишка — поэт, то для него лошадиный навоз — это цветы, чем, впрочем, лошадиный навоз всегда и является.

Пожалуй, новое стихотворение лучше, чем сие предисловие, объяснит, как из всех месяцев Лета моей жизни проросла эта книга.

Вот как оно начинается:

Не из Византии я родом,  
А из иного времени и места,  
Где жил простой народ,  
Испытанный и верный.  
Мальчишкой рос я в Иллинойсе.  
А именно в Уокигане,  
Название которого  
Непривлекательно и  
Благозвучием не блещет.  
Оттуда родом я, друзья мои,  
А не из Византии.

Стихотворение продолжается описанием моей привязанности к родным местам длиною в жизнь:

В своих воспоминаниях,  
Издавека, с верхушки дерева,  
Я вижу землю, лучезарную,  
Любимую и голубую,  
Такую и Уильям Батлер Йейтс  
Признал бы за свою.

Уокиган, в котором я частенько бываю, не лучше и не уютнее любого другого среднезападного американского городишки. Он почти утопает в зелени. Кроны деревьев смыкаются над серединой улицы. Дорога перед моим старым домом все еще вымощена красным кирпичом. Так что же особенного в этом городе? Да то, что я там родился. Он стал моей жизнью. Я должен был написать о нем как подобает:

Среди мифических героев мы росли  
И ложкою хлеб Иллинойса намазывали  
Светлым джемом — божественною  
Пищей, чтобы его разбавить  
Арахисовым маслом  
Цвета бедер Афродиты...  
А на веранде — спокойный и  
Решительный — мой дед,  
Ходячая легенда,  
Достойный ученик Платона,  
Его слова — чистейшая премудрость,  
И светлым золотом искрится взгляд.  
А бабушка тем временем  
«Разодранный рукав печали»<sup>1</sup>  
Чинит и вышивает холодные  
Снежинки редкой красоты и  
Блеска, чтобы припорошить  
Нас летней ночью.  
Дядя-курильщики  
Глубокомысленно шутили,  
А ясновидящие тетушки

---

<sup>1</sup> У. Шекспир. «Макбет», акт 2, сцена II. (Здесь и далее прим. перев.)



(Под стать дельфийским девам)  
 Летними ночами  
 Всем мальчикам,  
 Коленопреклоненным,  
 Как служки в портиках античных,  
 Пророческий разлили лимонад;  
 Потом шли почивать  
 И каяться за прегрешения невинных;  
 У них в ушах грехи,  
 Как комарье, зудели  
 Ночами и годами напролет.  
 Нам подавай не Иллинойс, не Уокиган,  
 А радостные небеса и солнце.  
 Хоть судьбы наши заурядны  
 И мэр наш далеко умом не блещет,  
 Подобно Йейтсу.  
 Мы знаем, кто мы есть. В итоге что?  
 Византия.  
 Византия.

Уокиган/Гринтаун/Византия.

Так, значит, Гринтаун существовал?

Да, и еще раз да! А существовал ли на самом деле мальчишка по имени Джон Хафф?

На самом деле существовал. И это его настоящее имя. Не он меня покинул, а я. Эта история со счастливым концом. Он жив и поныне, сорок два года спустя. И помнит нашу любовь.

И Неприкаянный существовал?

Да. Так его и звали. Когда мне было шесть лет, он рыскал ночами по нашему городу, наводя на всех ужас. Его так и не поймали.

И самое важное: существовал ли на самом деле большой дом дедушки и бабушки, населенный постояльцами, дядюшками и тетюшками? На этот вопрос я уже ответил.

А овраг всамделишный, глубокий и черный в ночную пору? Он был и остается таким. Несколько лет назад я с опаской водил туда своих дочерей, думая, что с годами овраг мог обмелеть. Я с превеликим облегчением и удовольствием могу заверить вас, что овраг стал еще глубже, темнее и таинственнее прежнего. Даже теперь я бы не

посмел возвращаться через него домой после просмотра «Призрака Оперы».

Итак, Уокиган был Гринтауном, а тот — Византией, со всем счастьем, которое под ним подразумевалось, и со всей грустью, которая звучит в этих именах. Люди в нем были богами и лилипутами и знали, что они смертны, поэтому лилипуты ходили, гордо вытянувшись вверх, чтобы не смущать богов, а боги скрючивались, чтобы коротышки чувствовали себя в своей тарелке. В конце концов, не в этом ли заключается наша жизнь — в способности ставить себя на место других людей и смотреть их глазами на пресловутые чудеса и говорить: «А, так вот как вы это видите. Теперь я запомню».

Итак, я чествую смерть и жизнь, тьму и свет, старое и молодое, смышленное и глупое, вместе взятые, чистый восторг и полный ужас, написанный мальчишкой, который некогда висел вверх тормашками на деревьях, напяливал на себя костюм летучей мыши с сахарными клыками и, наконец, свалился с дерева, когда ему минуло двенадцать, пошел и набрел на игрушечную пишущую машинку и напечатал свой первый «роман».

А вот еще одно воспоминание напоследок.

Огненные шары.

В наши дни их редко встретишь, хотя в некоторых странах, как я слышал, их еще делают и наполняют теплым дыханием подвешенной снизу жженой соломки.

Но в Иллинойсе в тысяча девятьсот двадцать пятом году они у нас еще были. И одним из последних воспоминаний о моем дедушке будет это — последний час ночи на Четвертое июля, сорок восемь лет назад, когда Деда и я вышли на лужайку, и развели костерок, и наполнили красно-бело-синий в полосочку грушевидный бумажный шар горячим воздухом, и держали в руках яркого потрескивающего ангела в эту прощальную минуту перед крыльцом, на котором выстроились дядюшки и тетушки, кузены, мамыши и папаши, а потом очень бережно выпустили из наших пальцев в летний воздух над засыпаю-

щими домами среди звезд все, что было нашей жизнью, светом, таинством — хрупким и непостижимым, ранимым и прекрасным, как само бытие.

Я вижу, как дедушка, погруженный в свои раздумья, провожает взглядом парящий свет. Вижу себя: глаза на мокром месте, потому что все закончилось, ночь прошла. Я понимал, что другой такой ночи никогда уже не будет.

Никто ничего не сказал. Мы просто смотрели вверх на небо, вдыхали и выдыхали и думали об одном и том же. Но никто ничего не сказал. Хотя кто-то, в конце концов, должен был что-то сказать. И вот этим *кем-то* оказался я.

Вино по-прежнему дожидается в недрах погреба.

Моя возлюбленная семья все еще сидит в темноте вранды.

Огненный шар все еще плывет, маячит и пламенеет в ночном небе еще не погребенного лета.

Как и почему?

Да потому, что я так сказал.

*Рэй Брэдбери,  
лето 1974 года*

## I

Безмятежное утро. Город, укутанный во тьму, нежится в постели. Погода насыщена летом. Дуновение ветра — блаженство. Теплое дыхание мира — ровно и размеренно. Встань, выгляни из окна, и тебя мгновенно осенит — вот же он, первый миг всамделишной свободы и жизни, первое летнее утро.

В сей предрассветный час на третьем этаже в спальне под стрельчатым потолком только что проснулся Дуглас Сполдинг, двенадцати лет от роду, и доверчиво пустился в плавание по лету. Его окрыляла высота самой внушительной башни в городе, что позволяла ему реять на июньских ветрах. По ночам, когда кроны деревьев волнами накатывали друг на друга, он метал свой взор, словно луч маяка, во все стороны поверх буйного моря ясеня, дуба и клена. Но сейчас...

— Ух ты, — прошептал Дуглас.

Впереди целое лето, день за днем, предстояло вычеркнуть из календаря. Он представил, что его руки, как у богини Шивы из путеводителя, мечутся во все стороны, обрывая кисленькие яблочки, персики и черные сливы. Он облачится в листву деревьев и кустарников, окунется в речные воды. Он не без удовольствия будет примерзать к заиндевелым дверцам ледника. Он будет радостно поджариваться на бабушкиной кухне за компанию с целым десятком тыщ курочек.

Но сейчас ему предстояла привычная задача.

Раз в неделю ему разрешалось оставить на одну ночь папу, маму и младшего братишку Тома в домике по со-